

**А. Халид**

**СОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИДЕНТИЧНОСТИ:  
ОБ “АРХЕОЛОГИИ УЗБЕКСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ”  
А. ИЛЬХАМОВА**

Я приветствую попытку привлечения А. Ильхамовым идей из работ таких исследователей, как М. Фуко, П. Бурдьё и Б. Андерсон, к дискуссии об идентичностях и процессе формирования идентичностей в Средней Азии. Статья Ильхамова очень значима для нашей области изысканий, поскольку вносит вклад в дело продолжающихся стараний продвинуть данную дискуссию вперед, за пределы аналитического тупика концепции этногенеза. Единственное, чего мне хотелось бы, так это того, чтобы автор пошел еще дальше в своем стремлении разобраться с непростыми вопросами, которыми работы упомянутых исследователей (как, впрочем, и работы многих из их последователей) окружают те установки, с точки зрения которых традиционно обсуждались вопросы идентичности на советском и постсоветском пространстве<sup>1</sup>.

В советском мышлении принималось за данное, что нации, национальности и народы вели “объективное” существование. Но если в раннесоветский период национализм понимался (в согласии с идеями, берущими начало в работе Сталина “Марксизм и национальный вопрос”) как исторически преходящее явление, то к 1930-м годам данная точка зрения уступила место другой, ознаменовавшей полное признание прочности и постоянства национальных идентичностей. В согласии с последней, в советской науке было развито понятие этногенеза, представлявшего собой своего рода биологическую метафору, подразумевавшую, что этносы и нации – органические сущности, имеющие характер объективной реальности. Основные постулаты, характеризующие эту точку зрения, коренятся в модернистских убеждениях XIX в. и обнаруживаются во многих националистических (“буржуазных”) течениях как в Европе, так и за ее пределами.

Как известно, в работах Фуко, Бурдьё и других авторов эти убеждения были поставлены под вопрос. Исследователи, принадлежащие к ряду различных дисциплин, стали указывать на то, что реальность является социально сконструированной и что власть, во всех ее многообразных проявлениях, играет критически важную роль в оформлении этой реальности. Данный вызов старым убеждениям трансформировал в числе прочего и изучение наций, национализма и национальных идентичностей, а также заставил ученых задаться рядом новых вопросов. Сегодня среди исследователей, изучающих национализм, наблюдается общее согласие по поводу того, что нации (хотя существуют и сторонники противоположной точки зрения) представляют собой отлчительно современное явление, возникающее параллельно с тем, как новые формы знания, власти, коммуникаций и организации приносят с собой новые формы самосознания и новые формы солидарности. Национальные и этнические идентичности смещают прежние типы привязанностей, которые при этом быстро утрачиваются. Логика рассуждений Фуко, Бурдьё и Андерсона подталкивает нас к тому, чтобы поставить на рассмотрение ряд качественно иных вопросов в отношении процесса возникновения национальных идентичностей. Так, мы стремимся поставить вопрос не о том, как происходил этногенез той или иной нации, а о том, как группы разрозненных людей пришли к тому, чтобы осознать себя связанными вместе; не о том, какой путь проделала нация к своему “национальному пробуждению”, а о том, как позиционировались национальные идентичности и этнические ярлыки, что именно эти этнические и другие ярлыки значили для людей и как кон-

кретно они эксплуатировались в ежедневной борьбе за выживание или улучшение условий жизни.

А. Ильхамов прекрасно справляется с задачей описания того, как обсуждался и дискутировался вопрос об узбекской идентичности, и указывает на те силы, которые оказали воздействие на ее оформление: русские и советские этнографы и востоковеды, советская государственная власть и местная интеллигенция (джадиды). Однако он все-таки концентрирует свое внимание на “трех исходных этнических компонентах, из которых сложились современные узбеки и как этнос, и как нация”. В этом присутствует существенный остаток “объективистского” мышления, пытающегося нащупать преемственность между этническими реалиями прошлых веков и политическими реалиями сегодняшнего дня. По моему мнению, даже эта связь должна быть поставлена под вопрос. Современная узбекская нация – как и все нации – есть продукт современной эпохи, и ее начала уходят корнями в реалии рубежа XX столетия.

Я согласен с доводом А. Якубовского (цитируемым Ильхамовым), что следует “отличать условия формирования того или иного народа от истории его имени”<sup>2</sup>, хотя в другом методологическом контексте тот же Якубовский утверждает, что “узбекский народ” существовал до того, как существовало само имя. Я склоняюсь к противоположной точке зрения: термин “узбек”, несомненно, существовал давно, однако само существование термина никак не указывает на существование узбекского народа или узбекской нации в каком-либо значимом смысле. О существовании нации или народа можно говорить лишь тогда, когда можно говорить о наличии какого-либо сознательного чувства единства, которое бы делало ярлык политически актуальным. В противном случае ярлык – это просто ярлык.

Ярлыки могут означать совершенно разные вещи в разные эпохи. До прихода национализма идентичности определялись совершенно иным образом: они никогда не были абстрактными и абсолютными, но всегда определялись специфическими локальными контекстами. Этничность или язык не обязательно были наиболее важными маркерами идентичности. Взаимно перекрывающиеся идентичности были обычным случаем. Ярлыков было предостаточно, но немногие из них (если какие-либо вообще) обозначали этнические группы.

Население региона Мавераннахра состояло из огромного числа небольших локальных групп, различавшихся по набору региональных, племенных и лингвистических критериев. Некоторые из групп можно было легко отличить по их одежде и кочевому образу жизни (казахи, туркмены) или по их выделявшейся религии (местные евреи). В некоторых очевидно распознавались иностранцы (индийцы, большинство из которых были хиндустанцы; афганцы; дунгане) или пришлые (европейцы). Трудно распознать было как раз остальную часть населения – массы оседлых поселенцев региона, не выделявшихся особыми знаками различия. С точки зрения генетического состава данное население включало в себя три слоя, упоминаемые Ильхамовым, но они, конечно, не исчерпывают список. Можно ли, в действительности, говорить о неких стабильных органических группах, опирающихся на общее генетическое происхождение, в регионе, история которого характеризуется столетиями миграций, войн и вынужденных социальных перемещений?

За исключением термина “мусульманин”, других общих терминов, с помощью которых можно было бы описать данное население как целое, не имелось<sup>3</sup>. Все остальные термины были связаны, как правило, с локальными контекстами и указывали на ту или иную небольшую нишу местного общества. Таков, к примеру, случай с могулами Восточной Бухары или курама Чирчикской долины – тюркоязычными группами, не входившими в более масштабные племенные объединения. Более того, эти термины не совпадали с языками, использовавшимися в группах. Люди вполне могли идентифицировать себя узбеками, в то время как *единственным* языком их

общения оставался персидский (например, в случае с большим числом узбеков в Бухаре). Представители других групп, таких как ходжа (известных как кожа среди арабов), обосновывали свое отличие от окружающего населения фактом якобы арабского происхождения, несмотря на то, что сами говорили только на местных языках. Еще один пример – сарты. В. Бартольд в статье, упоминаемой Ильхамовым, пытался проследить за различными значениями, связывавшимися с этим названием в прошлом, но все же он усматривал в нем этноним, привязанный к единой постоянно существующей группе людей<sup>4</sup>. Как мной уже указывалось в другой работе, в его истолковании не упоминается то, какое именно применение это название имело в XIX в.<sup>5</sup> Название “сарты” было не этнонимом, а термином, использовавшимся для обозначения социальной группы – оседлого населения – в *некоторых* областях Средней Азии, независимо от этнического происхождения и языка такой группы.

Конечно же, подобная неопределенность – анафема для современного научного воображения, ищущего во всем ясность и классификационную упорядоченность. Соответственно, уже к концу XIX в. начали предприниматься попытки свести всю эту сложность к более стройному набору “объективных” критериев. В данных попытках принимали участие русские востоковеды, этнографы и чиновники, однако местная модернистски настроенная интеллигенция – джаиды – проявляла не меньший энтузиазм к делу выявления “объективной” истины о происхождении населения. Никто не обращал особенного внимания на то, как люди сами объясняли свое происхождение. Самообъяснения, в конце концов, были “всего лишь” субъективными оценками, гораздо менее важными, чем объективное знание о происхождении, которое можно было получить с помощью научных (этнографических, филологических, краниологических) данных. В конечном итоге именно в дебатах между представителями государства и местными интеллектуальными элитами решилось, как следовало классифицировать местное население, какие названия соответствовали “реальности”, а какие нет. Классификации, конечно, обретают собственную власть и, будучи поддерживаемы государственными структурами и практиками, к которым они обязывают, они могут оказывать весьма существенное воздействие на оформление или переоформление идентичностей.

Я должен указать и на то, что статистические данные в табл. 1 очень проблематичны. Два набора цифр – по 1897 г. и 1914 г. – вряд ли сопоставимы. Данные по 1897 г. взяты из официальной переписи, в то время как данные по 1914 г. – из приблизительных сведений, приведенных в книге по географии. Но еще более важно, что у нас нет оснований полагать, что при получении двух этих рядов данных были использованы одинаковые методы классифицирования населения. В досоветский период, в отличие от советского, этничность не считалась формальным признаком чьей-либо идентичности. Учитывая, что значения терминов “узбек”, “сарт” и “таджик” в определенной мере перекрывались и что население, представленное в этих группах, не было дифференцировано так четко, как того хотели бы этнографы или регистраторы переписей, следует отметить, что разница цифр, представленная в таблице, не говорит нам ни о чем. Должны ли мы действительно предположить, что в Сырдарьинской области все таджики и туркмены исчезли за период между 1897 и 1914 г.? Или же в 1914 г. их просто стали классифицировать не так, как в 1897 г.? Тот же самый вопрос следует задать в отношении “исчезновения” сартов после революции. Ярлык “сарт” попросту перестал использоваться в качестве классификационной категории, поскольку его перестали считать обозначающим этническую группу. Дело не в том, что сарты “слились” с узбеками, а в том, что все это “неопределенное” оседлое население Туркестана стало классифицироваться в согласии с новыми, строго этнолингвистическими критериями.

Гегемония этнолингвистических критериев была распространена на Среднюю Азию не одними лишь действиями Советского государства. Новые способы класси-

фикации активно заинтересовали многих и в местном обществе. Для джадидов этнонационализм был составной частью современности и прогресса. Национализм, как знание своей “истинной” (т.е. этнической) идентичности, был критически важен для установления общественной солидарности, ибо он один мог заставить людей преодолеть их частные эгоистические устремления и сплотиться ради общего блага. Национальная солидарность сделала сильными нации Европы, и именно это требовалось народам Туркестана для того, чтобы достичь прогресса. Знание своих истинных этнических корней требовалось даже для того, чтобы сделать человека лучшим мусульманином. Как выразился один из джадидских авторов, “религия существует лишь на основе национального и национальной жизни... Без нации религия уничтожается”<sup>6</sup>. Применение термина “сарт” стало вызывать возражения, потому что последний не указывал на этническое происхождение людей. “Неопределенные” массы населения Средней Азии считались тюркоязычными, а следовательно тюркскими. Еще до революции джадиды начали использовать термин “узбек”, хотя термин “тюрк” тоже использовался время от времени.

Политическая мобилизация 1917 г. первоначально разворачивалась под знаменем “мусульман Туркестана”, но риторика джадидов в скором времени приняла этнический характер, и применение терминов “тюрк” и “узбек” выступило на передний план как важный способ идентификации групп. Джадидские авторы стали часто говорить именно о тюркском прошлом региона. Термин “сарт” вышел из политического дискурса очень быстро, но за ним последовал и “тюрк”, поскольку последний вызывал ассоциации с пантюркизмом. Тем временем в политической сфере к джадидам приобщилась новая сила – местные партийные кадры, вошедшие в политику после 1917 г. Их мировоззрение было исключительно национальным – существование наций, определявшихся по этническому признаку, они принимали как данное. Когда центральная власть приняла решение о национально-территориальном размежевании 1924 г., именно эта группа повела страстные, временами буйные, дебаты о частностях этого размежевания<sup>7</sup>. Размежевание 1924 г. ознаменовало победу этнической концепции идентичности, так же как и победу тех кадров, которые поддерживали ее.

В ходе дискуссий между этнографами, государственными деятелями и местной интеллигенцией было выяснено, что “неопределенные” массы оседлого населения Средней Азии следовало классифицировать как единую нацию, которую следовало именовать “узбекской”, а не “сартской”, “тюркской” или “чагатайской”. Как только узбекской нации было дано подобное определение, она могла начинать процветать. Теперь у нее была домашняя территория, государственная структура, заново кодифицированный и формализованный национальный язык, национальная интеллигенция, опирающаяся на развитую систему высшего образования, национальная символика, национальная историография и набор самых разнообразных практик, подобающих настоящим узбекам, – причем все это было выстроено в согласии с советской национальной политикой и ресурсами советского государства. Зарождаясь, узбекское национальное воображение усвоило семена как джадидского, так и советского дискурса.

Если смотреть на частный случай Узбекистана в более общей перспективе опыта нациестроительства в XIX и XX вв., то в нем нет ничего необычного. Все нации, как я взялся бы утверждать, сконструированы. Как указывал Э. Геллнер еще два десятилетия назад, претензии национальных движений на то, что нации создают собственную государственность, чаще всего оказываются истинными в перевернутом виде, т.е. в том, что нации строятся как раз государствами<sup>8</sup>. Это верно и в отношении так называемых “исторических наций” Западной Европы. Французская нация существует как гомогенная единица со своим самосознанием потому, что французское государство подвергло территории, которыми оно управляло, постоянным централизаторским мерам, уничтожившим гетерогенность местных идентичностей, структур управления, диалектов и т.д. И все же, как замечал Э. Вебер, только военная мобили-

зация конца XIX в. смогла окончательно поставить национальную идентичность на место разрозненных социальных идентичностей и превратить крестьян во французов<sup>9</sup>.

То, что имело место в узбекском случае, – это был результат применения принципов пресловутой аналитической четкости, опирающихся на объективное знание об этническом происхождении, к смешанному населению, представители которого не идентифицировали себя в согласии с такими принципами. Но можно упомянуть два других случая, весьма уместных для сравнительного исследования процесса возникновения узбекской идентичности и процесса ее отделения от таджикской идентичности. Первый – это случай с Mitteleuropa, Центральной Европой, где идентичности слишком локального характера были вытеснены более “упорядоченными” этническими идентичностями<sup>10</sup>. Второй – это случай с возникновением современной турецкой идентичности. В конце Первой мировой войны массы мусульманского населения, оставшегося от того, что было Османской империей, были превращены по декрету в единую, гомогенную турецкую нацию, определенную по этническому признаку. Параллели с узбекским случаем поразительны и заслуживают детального изучения.

### Примечания

<sup>1</sup> В США, в частности, на данные вопросы откликнулся ряд ученых. См., напр.: *Слезкин Ю.* СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период.* Самара, 2001. С. 329–374; *Suny R.* The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1994; *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, 2001; *Edgar A.* Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton, 2004.

<sup>2</sup> *Якубовский А. Ю.* К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент, 1941. С. 3.

<sup>3</sup> Термином “мусульманин” (“мусулмон”) обычно пользовались как местные люди, так и русские чиновники в целях указания на человека, принадлежащего к неопределенной части населения региона. В официальных русских сообщениях можно часто встретить такие выражения, как “мусульманская часть города”, “мусульманский язык” и т.д.

<sup>4</sup> *Бартольд В. В.* Соч. Т. 2. Ч. 2. М., 1964. С. 527–529.

<sup>5</sup> *Khalid A.* The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998. P. 204.

<sup>6</sup> *Музаффар А.* Дин миллат, миллат миллият ила коимдир // *Садои Туркистон* (Ташкент). 1914. 26 нояб. (на узб. яз.)

<sup>7</sup> Материалы о дебатах по размежеванию см.: Российский гос. архив социально-политической истории. Ф. 62. Оп. 2. Д. 100–112. Обстоятельный анализ этих дебатов см.: *Haugen A.* The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia. L., 2003; *Edgar A.* Op. cit. P. 39–69.

<sup>8</sup> См.: *Gellner E.* Nations and Nationalism. L., 1983.

<sup>9</sup> См.: *Weber E.* Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, 1976.

<sup>10</sup> См.: *King J.* Budweisers into Czechs and Germans: A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948. Princeton, 2002.

Перевод А.Л. Елфимова